

Алексей Митрофанов

Арбат

Прогулки по старой Москве



Алексей Митрофанов

**Арбат. Прогулки
по старой Москве**

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Арбат. Прогулки по старой Москве / А. Митрофанов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-858588-3

Еще в начале двадцатого века Арбат был улицей тихой, спокойной, уютной. На Арбате в основном селилось небогатое дворянство (на каждые шестеро жителей — один дворянин, по Москве это было рекордом. Затем тут пустили трамвай, появились витрины модных магазинов. Дух «тихого центра» ушел безвозвратно.

ISBN 978-5-44-858588-3

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Содержание

«Вот из архива плясуны»	7
Скромная обитель пушкинского друга	12
Мятежный «Петергоф»	14
Резиденция Пьера Безухова	18
Застройщики Опричного двора	21
Универмаг для военных	26
Варвара с Воздвиженки	29
Тайная и явная морозовская глупость	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Арбат

Прогулки по старой Москве

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2017

ISBN 978-5-4485-8588-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В честь чего названа эта улица – никто не знает. Есть немало версий происхождения слова «Арбат». Ну, к примеру, от слова «горбат». Но все-таки он прям, а не горбат. Конечно, кривоват немного, но не более, чем остальные улицы Москвы.

Некоторые исследователи считают, что «Арбат» так назван по персидскому слову «рабат», что означает «пристанище», а вернее – «богадельня». Да, действительно, в Москве имели место заимствования из всяческих восточных языков. Однако большинство историков практически уверены, что никаких тут богаделен не существовало.

Была и третья версия: Арбат – от латинского «arbutum», вишня. Да, вполне возможно, что существовали тут вишневые сады. Однако зачем переводить родную вишню на чужой язык, неясно.

А безупречной версии, увы, не существует.

Еще в начале двадцатого века Арбат был улицей тихой, спокойной, уютной. На Арбате в основном селилось небогатое дворянство (на каждые шестеро жителей – один дворянин, по Москве это было рекордом). Затем тут пустили трамвай, появились витрины модных магазинов. Дух «тихого центра» ушел безвозвратно. Борис Зайцев писал: «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разных Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает «Прага», сладостный магнит. В цветах и в музыке, в бокалах и в сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик, в санях вытертых, на лошаденке дмитровской, звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях, везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И, отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром, – кто на службу, кто торговать, по банкам

и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семи-звездием, тайно прельщающим над кристаллом снегов».

Улица время от времени чудачила. В революцию 1905 года здесь, на баррикадах, появлялся Константин Бальмонт, а дружинников – арбатских революционеров – возглавлял скульптор Сергей Коненков. После революции 1917 года так называемым «буржуям» запретили пользоваться для очистки снега (обязательной повинности в то время) лошадьми. «Буржуи» с других улиц стали таскать снег собственными, человеческими силами – а арбатцы завели себе верблюдов. Перед Великой Отечественной войной здесь на мостовой появились цветные, прозрачные кирпичи. Они подсвечивались снизу, и прохожие, нимало не смуща-

ясь, топали по этой сказочной поверхности – опять же, уникальное тогда в Москве явление. А обитатели здешних домов вообще составляли своеобразное «арбатское братство» – почти «полумасонское», во всяком случае, не афиширующее себя сообщество «избранных». И разве что в песнях Окуджавы и других произведениях литературы информация о братстве хоть чуть-чуть, да выходила за его пределы.

Но все же во времена советские Арбат почти не выделялся среди множества других московских улиц – тогда вообще мало что выделялось. Анатолий Рыбаков писал о довоенном времени: «Арбат кончал свой день. По мостовой, заасфальтированной в проезжей части, но еще булыжной между трамвайными путями, катили, обгоняя старые пролетки, первые советские автомобили „ГАЗ“ и „АМО“. Трамваи выходили из парка с одним, а то и двумя прицепными вагонами – безнадежная попытка удовлетворить транспортные нужды великого города. А под землей уже прокладывали первую очередь метро, и на Смоленской площади над шахтой торчала деревянная вышка».

А в послевоенное время арбатцев стали расселять по панельным домикам, построенным на месте бывших деревень... И вскоре «братство» распалось. Первое время арбатцы, разумеется, созванивались, изредка даже встречались. Однако новые соседи и новые заботы все сильнее разделяли бывших жителей центра. Как бы до метро добраться (на автобусе сорок минут, а ведь его поди дождись), парного молочка прикупить (не все деревни разломали в одночасье, были поначалу и коровы, и яички только что из-под несущки, и волшебные ягодные сады) да с соседом, запивающим мертвецки, не рассориться (в панельных домиках тоже существовали коммуналки)!

В середине восьмидесятых Арбат стал пешеходным. И понеслась душа в рай. Академик Дмитрий Лихачев писал: «Я... предлагаю превратить пешеходный Арбат в Москве в улицу Культуры». Дальнейшие события, похоже, ориентировались на заветы Дмитрия Сергеевича – разве что понимание того, что такое культура, постоянно изменялось...

В 1987 году на Арбате пытались создать первую безалкогольную зону столицы. Примерно тогда же корреспондент одной из газет посетовал – дескать, не нашел на улице ни одного кафе: все государственные не работают, а кооперативных – нет. В ответ почти в каждом доме открылось какое-нибудь общепитовское заведение. А для любителей «русской экзотики» тут стали продавать матрешек, воинскую одежду и футболки

с изображением Кремля. И Булат Окуджава, один из идеологов «братства», озвучил ему приговор: «Я много раз говорил

о том, что Арбата больше нет. Я сетовал об этом. Действительно, его физическое существование так резко преобразилось, что ничего иного и не скажешь. И это, увы, не только мое мнение. Так думают многие арбатцы. Но, к счастью, Арбат стал символом еще задолго до своей физической гибели. Он продолжает им оставаться и до сих пор. Нельзя уничтожить историю, дух. Они продолжают существовать и подогревают и вдохновляют нас на деятельность. И то, что мы скорбим, засучиваем рукава, пытаюсь уберечь свое прошлое, то есть самих себя, – разве это не признак того, что истинный Арбат уже прочно в нашей крови».

Мы же сегодня пройдем по Арбату спокойно и радостно. Постараемся, по крайней мере.

«Вот из архива плясуны»

Здание Российской государственной библиотеки (Воздвиженка, 3) строилось по проекту архитекторов В. Гельфрейха и В. Щуко с 1928 по 1958 годы.

Официально улица Арбат находится между Арбатской и Смоленской площадями. Но это лишь официально. А фактически Арбат берет начало от Кремля, от низенькой и коренастенькой Кутафьей башни: некогда нынешняя улица Воздвиженка тоже носила гордое название Арбат. Ее переименовали лишь в семнадцатом столетии – в Смоленскую (название «Воздвиженка» возникло много позже).

Первая достопримечательность – бывшая Ленинка, а ныне – РГБ (Российская государственная библиотека). Впрочем, многие так по сей день ее по старинке величают Ленинкой. Ни в коей мере, разумеется, не декларируя свои пристрастия к учению и идеям Ленина – просто название давно уж отделилось от фамилии вождя большевиков и выстроило свою собственную биографию.

А до Ленинки на этом месте помещалось здание главного архива Министерства иностранных дел, одного из престижнейших учреждений дореволюционной Москвы.

Этот архив был с историей. Один из его сотрудников, А. Кошелев, писал: «Архив прослыл сборищем блестящей московской молодежи, и звание „архивного юноши“ сделалось весьма почетным».

Все началось при Павле Первом.

Дело в том, что издавна в среде российского дворянства было заведено с рождения отдавать детей в престижные полки. Парень еще под стол пешком ходил, а уже обладал приличным офицерским чином. Нужно это было для того, чтобы, когда придет момент действительно идти на службу, звание было таким высоким, чтобы вместо тягот и лишений получать одни лишь удовольствия.

Император же решил этому делу положить конец. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Павел в первые дни своего царствования потребовал списки, и сержантов гвардии, находившихся дома в отпуску, оказалась целая тысяча, если не более. Всем им было велено явиться в Петербург на смотр императору. Можно себе представить великий страх батюшек и матушек, бабушек и мамушек вести грудных или ползающих детей на смотр Павлу. Государю доложили о такой невозможности, и он одним почерком пера всех их выключил, но в гражданскую службу долго еще записывали семилетних...»

Тогда заботливые папеньки и маменьки нашли выход из ситуации: они стали пристраивать своих любимых отпрысков в архив. Служба непыльная и, кроме того, неплохой старт в дипломатической карьере.

Зачисление в архивисты было настоящим праздником, увы, доступным далеко не каждому. Писатель М. А. Дмитриев

с восторгом вспоминал: «Когда мать моя была еще очень молода и жила в Саратове, у ней была там приятельница Анна Петровна Левашова... Узнавши обо мне, т. е. о существовании сына ее молодой подруги, она вздумала оказать ей знак своей любви и памяти и записала меня в 1805 году марта 8-го в московский архив иностранной Коллегии, куда меня приняли архивариусом, чином 12-го класса. Вдруг получена была на почте маленькая шпакка и уведомление об этом от дяди. Все были в восторге и решили тотчас сшить мне мундир... У дяди Сергея Ивановича были пуговицы с гербом Лифляндской губернии; на первый случай сделали мне зеленый мундир с красным казимировым воротником и с этими пуговицами. Потом, когда получили известие о настоящей форме, сшили мне другой, с черным бархатным воротником и посеребренными пуговицами, который мне, однако, не так нравился,

как прежний, потому что тот, с красным воротником, был похож на военный. Таким образом, по большим праздникам я ходил к обедне и щеголял дома в мундире. Потом именным указом от 24 февраля 1806 г. я был уволен в отпуск, „до окончания наук“, как было сказано в указе, т. е. до окончания курса учения».

Неудивительно – Дмитриеву в это время было только девять лет.

Архив сразу же изменился до неузнаваемости. Один из его сотрудников, Ф. Вигель, так описывал свое место работы: «По разным возрастам служивших в нем юношей и ребят можно было видеть в нем и университет, и гимназию, и приходское училище; он был вместе и канцелярия, и кунсткамера. Самая ранняя заря жизни встречалась в нем с поздним ее вечером; семидесятилетний надворный советник Иванов сидел близко от одиннадцатилетнего переводчика Васильцовского; манерные, раздушенные Евреиновы и Курбатовы писали вместе с Большаковыми и Щученковыми, которые сморкались в руку. Подле князя Гагарина и графа Мусина-Пушкина, молодых людей, принадлежавших к знатнейшим фамилиям в Москве, вы бы увидели Тархова, в старом фризovém сюртуке, того уродца, который наделял нас работой и, во мзду своей снисходительности, выпрашивал у нас старое исподнее платье и камзолы».

Одних только князей Голицыных в те времена было четырнадцать персон.

Большинство «архивных юношей», конечно, не изобретали пороха. Все тот же Вигель сообщал: «По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидают обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в неизвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства».

А исключения можно было, что называется, пересчитать по пальцам.

Конечно, работы на всех не хватало. Ее приходилось выдумывать. Николай Иванович Тургенев писал: «Вчера был

я в Архиве и занимался перетаскиванием столбцов из шкапов в сундуки. Какой вздор! Чем занимаются в Архиве; и еще Каменский сердится, зачем редко ездят... Там есть переводчики, которые не переводят, а переносят (старые столбцы). (Горчаков возил столбцы на рогожке!) Следовательно, из переводчиков делаются переносчиками или перевозчиками».

А еще время от времени в архиве проводилось что-то наподобие экзаменов. Притом сотрудники были обязаны давать ответы, слово в слово совпадающие с записанным в особом руководстве.

« – Что есть история?

– История есть повествование прошедших достопамятностей.

– Каким образом история различается от летописи?

– Летопись показывает только, в котором году что случилось; история же, повествуя о делах, представляет вместе,

с каким намерением и каким образом они произведены были».

И так далее.

Впрочем, многие сотрудники архива находили здесь свое призвание. Александр Иванович Тургенев (брат уже упомянутого Николая Ивановича), например, писал: «Я опять роюсь в здешнем Архиве и живу с Екатериной II, Фридрихом II, Генрихом Прусским, Потемкиным, Безбородко, а еще какие сокровища! Какая свежая и блистательная история! Без сего Архива невозможно писать истории Екатерины, России, Европы. Сколько в нем истинных, сколько искренних причин и зародышей великих и важных происшествий XVIII столетия. Какая честь для дельцов того времени, и сколько апологий можно бы составить для важнейших дипломатических исторических вопросов!»

Таких специалистов было за уши не оторвать от стеллажей и папок.

Сотрудники архивов раздражали общество. Фаддей Булгарин дал им отповедь в своем романе «Иван Выжигин»: «Чиновники, не служащие в службе, или матушкины сынки, т. е. задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепой фортуной. Из этих счастливицев большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в причт русских антиквариетов. Их называют архивным юношеством. Это наши петиметры, фашьонебли, женихи всех невест, влюбленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произносить: oui и поп. Они-то дают тон московской молодежи на гульбищах, в театре и гостиных. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно через край, кроме здравого смысла, низателей рифм и отчаянных судей словесности и наук».

Друг Пушкина С. Соболевский придумал для них звание «архивных юношей». Кличка прижилась, даже вошла в литературу. Тот же Пушкин писал в «Евгении Онегине»:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагодарно говорят.

А поэт В. Филимонов примечал:

Вот из архива плясуны,
Из Экспедиции кремлевской.

«Архивный юноша» сделался символом праздной богатой молодежи, все свое время проводящей на балах, лишь изредка наведываясь на свое место работы.

Упомянутый уже Дмитриев писал: «Поступив в начале 1811 года в пансион, я должен был в то же время явиться к младшему начальнику архива, Алексею Федоровичу Малиновскому, который по знакомству своему с моим дядей взялся сам представить меня главному начальнику архива Николаю Николаевичу Бантыш-Каменскому. Здесь была со мной неприятная история. В архиве было несколько сот юношей, записанных и ничего не делавших. С них только и требовалось, чтобы они изредка показывались в архиве; но некоторые уезжали из Москвы или просто по году и более не являлись. Таких обыкновенно отыскивал и ловил Малиновской и привозил их к старику Бантыш-Каменскому. Старик был глух; не слыша, что говорит Малиновской, и видя незнакомое лицо, он принял меня за одного из беглецов и начал бранить. Малиновской кричал ему на ухо, а он, не слушая, продолжал кричать: „Знаю, знаю! все они шмольники, только что шатаются! ну, пошёл!“ Малиновской после этого заключения, когда замолчал старик, растолковал ему наконец, кто я и что я в первый раз являюсь на службу. Старик улыбнулся, просиял своим добрым лицом и сказал: „Ну, извини, а я думал, что ты из наших беглецов!“ Мне велено было всякий понедельник часу в 12-м являться в архив, куда, с позволения Антонского, я и ездил из пансиона».

Словом, «архивные юноши» явно не перетруждались.

В семидесятые годы девятнадцатого века для архива решили выстроить новенькое здание. Инициатором строительства явился высокопоставленный чиновник российского МИДа с чудесной фамилией Гамбургер, а в подрядчики был избран знаменитый Александр Пороховщиков. Покровительствовал же сам князь Горчаков, имперский канцлер. Гамбургер писал: «Горчаков дал мне возможность осуществить долго лелеемую мысль и сочувствием и содействием сохранил для потомства хартии нашей дипломатической истории, которые без перенесения их в новое помещение, вероятно, не только не были бы доступны для историков, но, может быть, и совсем бы пропали».

Один из современников писал: «Здание по внешности, башенками, своим обширным двором, своим превосходным входом – словом, всею своею отделкою – бросается в глаза каждому, и не мудрено, что приезжий – русский ли, или иностранец, осматривающий достопримечательности Москвы, – непременно посетит эти палаты».

Удивительно, но факт: вход в столь серьезное учреждение был свободным.

Впрочем, внутри все было далеко от идеала. Историк Петр Бартенев сокрушался: «В то время как частные люди стали у нас заниматься своими старинными бумагами, государственное наше архивное богатство, Московский главный архив Министерства иностранных дел, в новом своем великолепном помещении на Воздвиженке подвергается страшной опасности, именно – гниению. Там уже не только сырость, но в помещении рукописей – туман от сырости. Обои уже гнили. Соловьев (известный российский историк С. М. Соловьев. – АМ.) острит, утверждая, что последний том его истории никак не может быть сух. Так как он работал над ним в архиве».

Что поделаешь – архивные работники на радостях забыли, что новому зданию нужно просохнуть. Но впоследствии все, разумеется, наладилось.

* * *

А через полвека дому с башенками наступил конец. На его месте принялись возводить главную в стране библиотеку, а под ней, практически одновременно, – станцию метро.

Метрополитен более прочих городских объектов отражает историю Москвы двадцатого столетия. Ведь дома, мосты и памятники строили всегда. А метрополитен возник лишь в 1935 году. И станция «Библиотека имени Ленина» оказалась самым четким отражением истории, таким ее подземным зеркалом.

Характерно уже само название. Ленин – первейшая персона в официальной России ушедшего века. А эта станция – первая в столичном метрополитене, которой дали имя вождя социалистической революции. Уже позже на схеме метро появятся «Ленинский проспект» и «Ленинские горы», да и вся система подземного транспорта Москвы получит имя этого исторического деятеля.

Само строительство станции (в котором, кстати, принимал участие чешский писатель Юлиус Фучик) было вполне в духе эпохи. Передовые (по тем временам) устремления смешались с колоритом древнего русского города. К примеру, археологи, обследовавшие подземные пространства, прежде чем туда пришла собственно стройка, вдруг обратили внимание на осадку фундамента в шахте. Естественно, они предположили неизвестные подземные пустоты, и естественно, что их предположение сразу же оправдалось. Был обнаружен белокаменный подвал семнадцатого века, а в подвале – неизвестного предназначения тайник с замаскированным низеньким входом-арочкой. По Москве поползли невероятнейшие слухи: дескать, строители уперлись неожиданно в подземное книгохранилище и чекисты сразу же распорядились то хранилище замуровать, поскольку тоннель был секретный, правительственный.

Несколько пугало строителей метро здание библиотеки. Известный спелеолог Игнатий Стеллецкий писал: «Большого внимания в подземном смысле заслуживает... станция „Библиотека Ленина“, как пункт скрещивания Мясницкого и Арбатского радиусов метро. Грандиозное здание Библиотеки им. Ленина возводится на месте, густо источенном на известной глубине историческими пустотами. Тоннель первой трассы метро, который имеет пройти под ними, составляет определенную угрозу архитектурному гиганту, если таинственные пустоты под ним времен Ивана Грозного своевременно не будут учтены и обезврежены».

Но к Стеллецкому не слишком-то прислушивались – с исторического «Дела краеведов» минуло всего пять лет.

А спустя два десятилетия краеведов оправдали. И не только краеведов... Наступила новая эпоха: политические заключенные и ссыльные возвращались в столицу на постоянное жительство. Иной сделалась и жизнь станции. Поэт Константин Ваншенкин вспоминал, как на платформе «Библиотеки имени Ленина» человек в потертом ватнике вдруг подскочил к другому человеку, с чистеньким портфельчиком, и принялся зверски его избивать, при этом крича:

– Ты посадил меня, гад, ты оклеветал!

Никто из пассажиров не пришел на помощь избиваемому. Тот, впрочем, и не призывал – терпеливо сносил экзекуцию...

После, в эпоху «развитого социализма», на станции «прописался» какой-то мошенник – каждое утро в турникетах находили металлическую шайбочку, которую злодей швырял туда вместо жетона... А поэты посвящали станции (а также тому, в чью честь ее назвали) свои пафосные четверостишия: «Ступени, ступени, ступени – как книги, уложены в ряд. Здесь часто просиживал Ленин вечерние зори подряд...»

А затем явилась перестройка, и общественная формация вновь сменилась. Моссовет предложил станцию переименовать – скромненько, в «Моховую». Официальное обоснование предложения было довольно аккуратным: «Сокращение громоздкого и неудобопроизносимого названия».

Но вскоре в стране возникли более серьезные проблемы, и бум переименований завершился, так и не исчерпав всех своих возможностей.

А станция все так же пользовалась популярностью у литераторов – именно отсюда за страницу до конца повествования выбрался Омон Ра, герой одноименного пелевинского опуса.

И похоже, что «Библиотека» и далее будет четко отражать события наземной жизни. А иной раз – их предвосхищать.

Скромная обитель пушкинского друга

Усадьба князей Голицыных (Малый Знаменский, дом №5) выстроена в восемнадцатом веке.

Недалеко от здания РГБ находится одна из знаменитейших усадеб города. Поначалу это была собственность князей Голицыных. А в 1790 году усадьбу приобрело семейство Вяземских. Их сын, Петр Андреевич (кстати, друг Пушкина), писал: «Родительский дом не отличался ни внешней пышностью, ни лакомыми пиршествами... Князь Лобанов говорил мне долго по кончине отца моего: „...Уж, конечно, не роскошью зазывал он всю Москву, должно признаться, что кормил он нас за ужином довольно плохо, а когда хотел похвастаться искусством повара своего, то бывало еще хуже“».

Скорее всего, поначалу гостей привлекал в усадьбу Николай Карамзин, который в самом начале прошлого столетия женился на сестре Петра Андреевича. Об этой девушке Ф. Вигель оставил такие воспоминания: «Она была бела, холодна, прекрасна, как статуя древности. Душевный жар, скрытый под этой мраморной оболочкой, мог узнать я только позже».

Впрочем, когда Петр Андреевич подрос, он сам сделался главной достопримечательностью дома. Этот оригинал оставил свой автопортрет: «У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос... Как бы в вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица, мой рот, щеки и уши очень велики. Что касается до остального тела, то я – не Эзоп, не Аполлон Бельведерский. У меня чувствительное сердце, и я благодарю за него Всевышнего!.. У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным. Я очень люблю изучение некоторых предметов, в особенности поэзии... Я не глуп, но мой ум очень забавен».

Видимо, неспроста он был первейшим другом Пушкина.

В скором времени это владение купили господа Тутолмины, затем тут обитали Долгорукие... К концу прошлого столетия усадьба, как и ее не менее достойные соседи, утратила старое дворянское очарование и стала сдаваться внаем. Правда, этому владению везло на съемщиков. К примеру, тут проживал художник Серов, и дочь его с восторгом вспоминала: «При доме был особый двор и большой чудесный сад. Там, где теперь Музей изящных искусств имени Пушкина, находился плац, на котором проезжали верховых лошадей, и мы детьми залезали на деревья и часами наблюдали это зрелище».

Проживал тут и другой художник, Николай Мартынов (у него брали уроки живописи будущие издатели братья Сабашниковы). Впрочем, эта квартира была известна не столько творческими встречами, сколько жареными пирожками с гречневой кашей, луком и грибами, которые готовила супруга Мартынова.

После революции значимость дворца повысилась неоднократно. Здесь, например, обосновалось УЛИСО – Управление личного состава флота. В УЛИСО служила знаменитая писательница-революционерка Лариса Рейснер. Тут же была и ее квартира. Сохранилось описание этого жилища, оставленное Львом Никулиным: «Один угол комнаты со стенами чуть не метровой толщины занимала канцелярия флаг-секретаря комфлота, в других углах на столах и диванах лежали трофеи – сигареты, английские консервы, оружие, любительские фронтовые фотографии. На одной был изображен весь обвешанный оружием чернородый человек в каракулевой папахе – вождь партизан Кучек-хан; помнятся еще фотоснимки, запечатлевшие вооруженные пароходы флотилии – миноносец „Карл Либкнехт“, яхту комфлота „Межень“ с пробоиной от снаряда, отряд моряков в строю, опять моряки в живописных позах, группой у пулемета и даже верхом».

О старых дворянских традициях в бывшей усадьбе не вспоминали.

А в 1933 году дворец отдали под Музей Маркса и Энгельса. Путеводитель по Москве 1937 года разъяснял: «Задача музея – показать жизнь и деятельность великих основоположников научного коммунизма – Маркса и Энгельса —

в свете истории международного революционного рабочего движения, показать методы работы Маркса и Энгельса, мировое распространение их произведений и работу Института Маркса – Энгельса – Ленина по изданию литературного наследства Маркса и Энгельса».

Музейщики собрали все, что относилось к жизни «великих основоположников»: автографы, гравюры, фотографии, плакаты... И каждый правильный москвич мог приобщиться к жизни своих кумиров. Правда, не исключено, что многие из посетителей ходили сюда ради интерьеров старого дворянского особняка. Но их вполне можно понять.

Спокойствие дома было вновь нарушено в начале девяностых, когда здание музея вдруг передали «возрожденному» дворянскому собранию. Тут одновременно проходили «светские рауты» (в том виде, как их представляли высокородные «потомки») и работала редакция строгого журнала «Коммунист». Впрочем, к тому времени журнал переименовали – как ни странно, в «Свободную мысль».

Разумеется, «свободомыслевцы» и господа дворяне постоянно ссорились, писали друг на друга пасквилы, жаловались друг на друга журналистам...

Мятежный «Петергоф»

Здание гостиницы «Петергоф» (Воздвиженка, 4) выстроено в 1901 году архитектором В. Шaubом.

История этого места началась в 1859 году, когда подрядчик, господин Скворцов, руководил строительством моста через Москву-реку. И из остатков старой переправы (эти, с позволения сказать, остатки были очень прочными, и переправу приходилось разбирать с помощью пороха) сделал себе весьма приличный домик с меблированными комнатами и трактиром.

Номера эти сразу прозвали «скворечником», а жильцов их – «скворцами». Попасть в число «скворцов» было большой удачей: хозяин славился своей терпимостью и мог сносить неплатежи годами.

– Со всяким бывает, – объяснял он свою доброту. – Надо человеку перевернуться дать.

И должник в конце концов «переворачивался», быстренько гасил свою задолженность и продолжал гнеститься у Скворцова, а есть ходил туда же, в «Петергоф», трактир при номерах.

Владелец трактира, господин Разживин, анонсировал меню в газетах: «Сегодня в понедельник – рыбная селянка с расстегаем. Во вторник – фляки... По средам и субботам – сибирские пельмени... Ежедневно шашлык из карачаевского барашка».

Кстати, Разживин был одним из первых в городе миссионеров – популяризаторов загадочного шашлыка. Впервые это блюдо появилось в 1870-е. На Софийке (нынешней Пушечной улице) среди бесчисленных русских трактиров вдруг открылось заведение некоего Автандилова. Подавали там невероятную еду – мясо, нарезанное на кусочки и зажаренное на длиннющих острых шпажках. Да не простое мясо – маринованное. Шпажки назывались шампурами, а само блюдо – шашлыком. Запивать эту разбойничью еду предполагалось необычным же вином – не французским, не венгерским, а каким-то кахетинским. Даже музыка у Автандилова играла странная – какие-то нездешние, то тягостно-напевные, а то, наоборот, быстрые, залихватские мелодии. Располагалось все это в полуподвальном помещении.

Москвичи, конечно, сразу же заинтересовались погребком. Посетитель если и не валом повалил, то уж, во всяком случае, шашлычная не пустовала. Но заинтересовались ею и полицейские. Вроде бы и нету никакого криминала, а все равно странное место.

В конце концов предприниматель завершил свой бизнес, съехал на Мясницкую и там открыл обыкновенный винный магазин. Пусть его напитки (то же кахетинское) и отличались от традиционного ассортимента большей части винных лавок, но подозрения он более не вызывал. Подумаешь, виноторговец. Много их таких. А москвичи остались, к сожалению, без шашлыка. Готовить же его на своих дачах граждане пока что не отваживались – больно уж сложно все это. Как говорится, мочи да хлопочи...

Прошло с десяток лет, и в городе открылась новая шашлычная. На этот раз она принадлежала некоему Сулханову. Сулханов имел стопочку визиток с надписью: «К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова». Врач и писатель Аргутинский-Долгоруков был в те времена в большом почете, карточка и составляла для Сулханова рекомендацию среди клиентов, и в какой-то мере ограждала от настырности властей (мало ли, а вдруг действительно племянник? Такого обижать – себе дороже). Там же, на карточке, значился адрес К. Сулханова – один из сумрачных домов в Большом Черкасском переулке. Карточки распространялись по знакомым, так сказать, среди своих. Заведение Сулханова носило еле уловимый аромат масонской логи.

Шашлычная действительно была полулегальной – ведь патент Сулханов не приобретал ни на вино (опять же кахетинское), ни на подмаринованное мясо. Выглядело это место очень колоритно. Обыкновенная квартира. В кухне – настоящая жаровня с тлеющими углями. В большой гостиной – длинный стол. На столе гора зелени, лаваш и сыр. Порция состояла из невероятного количества парной баранины (три-четыре шампура), выдержанной в винном уксусе и гранатовом соке и зажаренной на углях. А к ней – все то же кахетинское.

Возмущению соседей не было предела. Еще бы: жар, чад, постоянный запах жареного мяса и страх – а вдруг Сулханов спалит дом своей жаровней. Они то и дело шастали в участок клаязничать, но полиция не принимала мер – видимо, шашлычник был мастер улаживать подобные вопросы.

В конце концов Сулханова все же прикрыли. Тогда он нашел себе патрона в лице предпринимателя Скворцова и ресторатора Разживина, работавшего при гостинице.

Шашлык был дешев и хорош. Заведение Разживина пользовалось огромной популярностью. Хотя монополистом он более не был: на подготовленный им рынок набежало множество других шашлычников – в первую очередь из Грузии. Вскоре шашлык проник и в Петербург. Кавказская кухня накрепко обосновалась в России.

* * *

Дело, начатое добрым жуликом Скворцовым, процветало, и на месте ветхих корпусов в 1901 году отстроили роскошную гостиницу и ресторан. Комплекс получил название по старому трактиру – «Петергоф», но селились и питались тут уже не бедняки-студенты, а публика пореспектабельнее. И среди прочих постояльцев – сочинитель Горький.

Он поселился в «Петергофе» перед заварухой, названной впоследствии восстанием пятого года. И еще с осени в его апартаментах начались приготовления к вооруженной смуте.

«Помню атмосферу кипучей сутолоки в квартире. Видно, что постоянно приходят посетители, знакомые и незнакомые, и ведет их сюда обаяние имени, облика хозяина», – писал интеллигентный и наивный Борис Зайцев.

В действительности их вело сюда другое. Революционерка Драбкина писала, что квартира сочинителя «как бы стала центром, куда стекалась информация со всех районов, местом, где люди могли встретиться и поговорить о делах, связаться с кем нужно». По другим воспоминаниям, «московская квартира Горького... была своеобразным опорным пунктом восстания. Отсюда при его широком содействии шло вооружение рабочих фабрики Шмидта и других боевых групп...»

Самую же яркую характеристику жилища сочинителя оставил бас Шалапин: «На квартире Горького ждали не то обысков, не то арестов. По-видимому, сдаваться так просто они не захотели, и в квартире писателя дежурило человек 12 молодых людей, преимущественно кавказцев, вооруженных наганом и другими того же рода инструментами, названия которых я не знал, так как я играю на других...»

Восстание пятого года провалилось, и «Петергоф» получил временную передышку. Здесь, в ресторане, опять развлекались законопослушные и беззаботные граждане. Да и богема проводила всякие свои мероприятия. Например, в «Петергофе» состоялось открытие «Зеленой лампы» – «интимного кабаре литераторов, художников и артистов». Приглашение на шоу выглядело так: «В субботу 15-го сего февраля 1914-го года в 11 ч. вечера в ресторане „Петергоф“ (Моховая, против Манежа) впервые зажжется „Зеленая лампа“. „Зеленая лампа“ надеется видеть Ваше лицо... в ее лучах. Писатели и деятели лампы покорнейше вас просят, лорд, прийти на огонек „Зеленой лампы“ и поддержать вступительный аккорд. Мы обещаем Вам всю ласковость уюта, улыбки женские, и блеск остроумия, и флирт; Вы не заметите, как промелькнут минуты. Вы не заметите, как опьянит вас спирт».

* * *

В октябре 1917 года в стену отеля «Петергоф» влетел снаряд. Он был выпущен со Швигой горки и изначально направлялся вовсе не сюда, а в Кремль. Но артиллерист ошибся, и боеприпас, перелетев назначенный ему объект, подпортил никому тогда не интересную гостиницу.

А спустя несколько месяцев ее, уже отремонтированную, переименовали в Четвертый дом Советов. Часть дома была отведена все так же под квартиры, а часть – под приемную председателя ВЦИК.

В жилой половине обитали почетные большевики. В частности, рабочий Жуков. Ему посчастливилось в девятнадцатом столетии ходить в кружок (конечно же, марксистский), который возглавлял сам Ленин. А в девятнадцатом году столетия заботливый Ильич зашел к старому товарищу и сделал ему подарок – даром отправил в санаторий.

Ленин навещал в этом доме и Стасову. Да не один, а с Горьким и с его женой, актрисой Андреевой. Сначала они посмотрели фильм в Кремле (фильм назывался «Гидроторф» и разъяснял, как с помощью различных гидравлических приспособлений можно этот самый торф вытаскивать из земных недр). А после, уже в бывшем «Петергофе», слушали, как родственница Стасовой играет на рояле сочинения Бетховена.

Был Ленин и в приемной ВЦИК. Он выступал на совещании, собравшем председателей губернских и уездных исполкомов. Но главным персонажем той приемной был, конечно же, сам председатель, «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин.

Поэт А. Жаров посвятил ему стихотворение:

По общежитьям долго льется свет.
Беседы далеко заходят за ночь...
Спокойны ходоки:
На все им даст ответ
Калиныч дорогой,
Михал Иваныч.

Действительно, в официальном советском фольклоре Калинин был таким добреньким дедушкой, который всех поймет и всем всегда поможет. Вероятно, этот образ имел некоторые основания к существованию. К примеру, актер Весник вспоминал, что в раннем детстве, когда его, сына репрессированных, везли в грузовике в особый лагерь, он из грузовика сбежал и пришел прямо в приемную Калинина. И тот устроил так, чтобы от ребенка отвязались и даже разрешили ему жить в старой квартире.

При строительстве метро, когда геройские работницы ратовали за равноправие с мужчинами и требовали, чтобы разрешили им довольно вредные кессонные работы, строгий и заботливый Калинин отреагировал по-большевистски: «Нарушить закон не имею права».

Любопытна и история, случившаяся с академиком Вернадским. Когда своенравный гений прибыл к Калинину, у того были какие-то дела, и Михаил Иванович временно приостановил прием. Тогда Вернадский начал гневно колотить в дверь кабинета тростью. И якобы Калинин сразу его принял, вовсе не обиделся и просьбу удовлетворил.

Впрочем, староста не всегда был на высоте. В частности, Юрий Нагибин вспоминал, что когда посадили старого революционера Емельянова (именно у него в Разливе укрывался Ленин), его жена, близко знакомая с Калининым, явилась хлопотать в приемную. Тот отказался с ней разговаривать. Тогда несчастная супруга подкараулила старосту в коридоре и закричала:

– Миша! Михаил Иваныч!

– Я не Калинин! – тихо произнес «Иваныч». – Я не Калинин! Поняла? Не Калинин.

И быстро убежал.

А дочка Льва Толстого Александра вспоминала о своих беседах с председателем:

« – Вот, говорят, люди голодают, продовольствия нет, – продолжал староста. – На днях я решил сам проверить, пошел в столовую тут же на Моховой, инкогнито, конечно. Так знаете ли, что мне подали? Расстегаи, осетрину под белым соусом, и недорого... »

– Неужели вы серьезно думаете, Михаил Иванович, что вас не узнали? Ведь портреты ваши висят решительно всюду.

– Не думаю, – пробормотал он недовольно».

Правда, иногда в приемной возникали настоящие курьезы. К примеру, один посетитель, услышав отказ в своей просьбе, схватил молоток и прибил свой язык к чемодану. Выяснилось: в языке у этого героя была уже давно пробита дырка, и он довольно часто этим пользовался: продевал гвоздик в отверстие, и для эффекта ударял по нему молотком.

Просителя забрали на Лубянку, а «всесоюзный староста» продолжил прием.

Резиденция Пьера Безухова

Здание городской усадьбы Талызиных (Воздвиженка, 5) выстроено в 1787 году.

Слава этого участка началась в семнадцатом столетии, когда здесь разместили Новый Аптекарский двор. Как можно догадаться из названия, на том дворе изготавливали всевозможные лекарства для царя и его близких. Но этим функции Двора не ограничивались: здесь хранили и готовили всяческие съедобные припасы – вина, водку, мед, соленья и сладкие ягодные пастилки.

В 1785 году участок был приобретен П. Ф. Талызиным – генерал-поручиком и командиром Кронштадтского полка. Покупка дорогой недвижимости высокопоставленным армейцем не вызвала ни слухов, ни скандальных публикаций в прессе. Род Талызиных был знатным и богатым, никому и в голову не приходило заподозрить старого рубаку в казнокрадстве...

При Талызиных отстраивается усадьба – во вкусе Казакова (вероятнее всего, архитектором был кто-либо из его учеников). А в 1805 году талызинский наследник продал свою собственность саратовским помещикам Устиновым.

В 1826 году к владельцам дома заходил сам Пушкин, и, естественно, Устинов сделал запись в дневнике: «Намедни был у нас в гостях Александр Сергеевич. По-приятельски пообщались. Передал письмо для Кривцова». Собственно, передать письмо и свежеезданного «Годунова» своему приятелю Н. И. Кривцову (по совместительству – соседу по Саратовской губернии господ Устиновых) было единственной целью визита. Но Устиновы слыли людьми передовыми и равнодушными к искусствам, так что пушкинский визит пришелся весьма кстати.

А еще, по преданию, именно в этом доме жил герой романа «Война и мир» Пьер Безухов. Впрочем, краеведы всячески стараются эту легенду опровергнуть. Придираются они к таким словам Толстого: «Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем несгоревшем доме на Воздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней». Якобы, если бы Безухов проживал на той же улице Воздвиженке, он бы не поехал, а пошел к своей приятельнице. Будто бы речь идет не о богатом графе, а о жалком и затюканном настройщике роялей! Да и сам Толстой все же писатель, а не клерк из департамента недвижимости – мог ведь и позволить себе некоторые условности.

Зато доподлинно известно, что в 1869 году в доме останавливался композитор М. Балакирев. Пил чай, скучал, работал над фантазией для фортепиано «Исламей». Время от времени ходил с приятелями на прогулки. Поэт Н. Кашкин вспоминал: «Мы часто виделись. М. А. Балакирев, Чайковский и я были большими любителями длинных прогулок пешком и совершали их иногда вместе. Помнится, на одной из подобных прогулок Милий Алексеевич предложил Чайковскому план увертюры „Ромео и Джульетты“, по крайней мере, у меня воспоминание об этом связывается с прелестным майским днем, лесной зеленью и большими соснами, среди которых мы шли».

Усадьба в то время не принадлежала Устиновым – они продали свою недвижимость в 1845 году в Казенную палату...

А после революции здание прошло сквозь целую череду владельцев. Сначала – секретариат ЦК ВКП (б). Потом – государственная плановая комиссия. Следом за ней – Народный комиссариат юстиции... А затем старая роскошная усадьба почему-то сделалась обыкновенным жилым домом.

* * *

А в 1945 году здесь разместился Музей русской архитектуры, который возглавлял в то время знаменитый и маститый А. В. Щусев, автор мавзолея Ленина и множества церквей, построенных еще до революции. Приблизительно тогда же другой архитектор, Виктор Балдин, в то время – командир саперного батальона, вошел в один немецкий замок рядышком с Берлином. Впоследствии Балдин писал в своих воспоминаниях: «К вечеру последнего перед выступлением дня солдаты принесли мне весть, что в подвале дома, где располагался штаб, они видели ворох «каких-то рисунков». Дело в том, что всю войну я старался находить время рисовать. По просьбам однополчан делал их портреты, которые они в письмах отправляли домой, – фотоаппаратов у нас тогда не было. Поэтому они правильно рассудили, что известие о рисунках меня заинтересует...

Через пролом дверной закладки в полумраке небольшого сводчатого помещения я увидел груды одинаковых паспарту, видимо, сброшенных с наскоро сколоченных стеллажей, стоящих по периметру стен; по ним ходили, их разглядывали. Я поднял наугад несколько рисунков – золотым тиснением на тяжелых картонах значились имена: Овербек, Рихтер, Слефогт, которые тогда мне не были известны. Но далее увидел знакомых – Гвидо Рени, Тициан, Веронезе, затем Рембрандт, Рубенс, Ван-Гог. А вот Альбрехт Дюрер – один, пять, десять, двадцать рисунков с его характерной монограммой из двух букв!

Захватило дух... Какие уникальные листы! Немедленно надо спасать! Выдворил всех и поставил своего человека у двери – «Никого не пускай!»! А сам побежал к командиру бригады. В суматохе отъезда полковник едва выслушал мой взволнованный рассказ и отмахнулся: «Идите к начальнику штаба»...

Но все оказалось не так уж и просто: «Начальника штаба я пытался убедить выделить хотя бы самую маленькую машину, чтобы спасти от гибели уникальные рисунки из темного подвала. Тот подумал, пыхнул кривой трубкой и почему-то поинтересовался, сколько мне лет. Узнав, что 25, многозначительно протянул: «А-а-а»... – и подвел к окну. С верхнего этажа дома было хорошо виден весь двор, заставленный грузовыми машинами. «Видишь? 20 машин. Надо еще столько же, а их все еще нет. А тут ты со своими рисунками».

Я понял, что помощи не будет. Но спасать-то надо! Расстроенный, вернулся в подвал. Как быть? Нашел свечу и стал разбирать ворох. На плотных бристолевских картонах в специально сделанных углублениях по размеру листа располагались рисунки. Десяток паспарту – и больше не поднять; а их сотни. Что же делать? С болью в сердце стал осторожно срезать тонкие листы и переписывать на оборотную сторону имена авторов.

Рисунков было много. Сперва я выбирал известные имена, затем интересные сюжеты, а потом стал брать все подряд! Среди рисунков оказалась единственная картина на небольшой доске: спешившийся всадник с конем в характерном темном колорите масляной живописи. Наклейка на обороте – Гойя!

Было уже за полночь; догорала последняя свеча, а я не мог оторваться – срезал и срезал. А рано утром надо было выступать в дорогу. Пришлось оставить то, что казалось не столь ценным, но как можно было отсортировать? К тому же не оставляло предчувствие: то, что оставлю, – погибнет. На душе было тяжело...

Зажав срезанные рисунки между двумя жесткими паспарту, я взял всю кипу в охапку и понес в свой домик в лесу, благо располагался он не далее трехсот метров. Там я бережно уложил рисунки в один емкий чемодан, который имел свою историю: его нашли в саду около дома в городе Эберсвальде с полной формой гитлеровского генерала. Чемодан этот надолго стал хранилищем спасенных рисунков».

По прибытии в Москву товарищ Балдин как примерный гражданин Советского Союза передал свой дорогой трофей в Музей архитектуры. Он тогда и знать не мог, что в скором времени возглавит это учреждение, пробудет на посту директора четверть столетия, а спа-

сенные им ценности получают имя «Балдинской коллекции» и сделаются поводом для громкого конфликта – возвращать Германии, не возвращать Германии...

А в шестидесятых годах прошлого столетия усадьбу вдруг решили передвинуть вглубь квартала – планировалось продлевать Калининский проспект вплоть до Кремля. Но вмешался Фидель Кастро, случайно оказавшийся в Москве. Лидеру братской Кубы с гордостью продемонстрировали новенькие небоскребы, но вместо восторгов встретили одно недоумение – дескать, ради чего вам превращать прекрасный, уникальный город в типовой американский городок средней руки.

Власти вняли мудрому Фиделю и оставили Воздвиженку как она есть.

Застройщики Опричного двора

Больничное здание (Воздвиженка, дом №6) построено в 1930 году архитектором Н. Гофманом-Пылаевым.

Самым страшным местом в городе Москве в конце шестидесятых – начале семидесятых годов шестнадцатого столетия был Опричный двор. Он занимал не слишком-то большую территорию – между Большой Никитской и Воздвиженкой, т. е. находился примерно там, где в наши дни идет Романов переулок.

Защищала двор семиметровая стена. Внизу – белокаменная, сверху – кирпичная. Трое ворот, обитых белой жстью. Над ними – черные двуглавые орлы и львы со сверкающими глазами, сделанными для устрашения прохожих из редких в то время зеркал.

Внутри – дома, построенные из еловых бревен – отменных, привезенных из-под Клина. Они украшены затейливой резьбой и, опять-таки, двуглавыми орлами.

А на опричной церкви – редкие колокола, вывезенные из мятежного Новгорода.

* * *

Все началось неожиданно. 3 декабря 1564 года Иван Четвертый выехал с приближенными боярами в Троице-Сергиев монастырь, на богомолье. Помолился, как водится, а после отбыл в Александровскую слободу, излюбленную еще его отцом. А оттуда вдруг послал две грамоты. Первая – список «изменников» (все больше – бояр) с перечнем измены, воровства и прочих злодеяний. Вторая – обращение к народу. Дескать, на простое мужичье мы, Князь Великий, зла не держим.

Разумеется, бояре испугались. Где это видано – царь из Москвы бежал, да от своих же подданных. И явились депутаты в слободу: прости нас, дескать, княже, возвращайся.

Тот для форсу поупрямился и согласился. Но с двумя условиями – казнить «виновников» и учредить опричнину, то есть свое собственное войско охраны. Боярам ничего не оставалось, кроме как согласиться.

Вся Россия разделилась на две части – опричнину и земщину. Опричники, как удостоенные особой чести, принесли присягу: вовсе не общаться с «земскими». Их нарядили в черные одежды, весьма напоминающие монашеские рясы. Выдали знаки отличия – по метле и по собачьей голове. Первое – чтобы выметать крамолу, второе – чтоб ее же выгрызть. Обязали их являться к общей трапезе, сопровождаемой молитвами.

Словом, получилось что-то наподобие монашеского ордена.

Правда, жизнь опричного «монастыря» сопровождалась пьянством, оргиями и, главное, бесконечными убийствами.

Царь Иван Четвертый имел весьма своеобразное происхождение. По отцу – потомок Дмитрия Донского, а по матери – Мама. Рос злым мальчуганом. Лет в двенадцать начал сбрасывать животных с высокого крыльца и с любопытством смотреть, как они разбиваются. А в тринадцать вынес первый в своей жизни смертный приговор: велел псарям схватить боярина Андрея Шуйского и умертвить.

Что, разумеется, было исполнено.

Дальше – больше. Когда к 16-летнему Ивану пришла из Пскова депутация с жалобой на царского наместника, государь наказал смельчаков уже не без изобретательности: «бесчинствовал, обливаячи вином горячим, палил бороды и волосы да свечью зажигал, и повелел их покласти нагих по земли». А когда после гигантского пожара 1547 года москвичи восстали и умертвили дядюшку царя, Юрия Глинского, и требовали выдать им на самосуд и прочих Глинских, царь испугался не на шутку. И стал особенно усерден в злодеяниях.

Ходил войною на Казань. Детьми обзаводился. То есть в чем-то вел обычный для государя образ жизни. Но год от года делался все коварнее. И через восемнадцать лет его злость обернулась опричниной.

Весело было служить у царя. Заботился он о своих приближенных. Хорошо кормил, крепко и сладко поил. Даже открыл для опричников дом для попоек – на Балчуге. И назвал его татарским словом – «кабак». Остальным же водку пить не разрешалось.

Следил за тем, чтобы в девицах нужды не было.

Требовал же, в сущности, немного – постоянного веселья, ночных молитв, беспощадности и некоторой изысканности в расправах.

Избранные дворяне, призванные стать царскими телохранителями, сделались разбойниками. Они без труда находили крамолу (чаще всего – в зажиточных домах), «виновников» казнили, а имущество делили между собой. Для развлечения иной раз собирались в ватаги и отнимали товар у купцов на дорогах – покровительство Ивана обещало безнаказанность.

Главным же «подвигом» опричнины был новгородский погром 1570 года. Донесли царю, что в городе готовится восстание. Тот, конечно, поверил и выехал с войском – карать.

Погром продолжался шесть недель. Царские отряды ездили по улицам, хватили кого ни попадя и сразу же казнили. Обливали, например, горячей смесью и поджигали. Или привязывали к быстро бегущим саням. Сбрасывали в ледяную воду. Сажали на кол.

Опричник-иностранец Генрих Штаден вспоминал об одном из «визитов»: «Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей».

Отправился Генрих в поход с одною лошадей, вернулся же – без малого с полусотней, из них двадцать две везли сани с добром. За все это царь Иван благодарил опричника и дал ему почетный титул.

Террор продолжался. Все больше казнили ни в чем не повинных людей.

Постепенно царский страх распространился не только на подданных, но и на собственные злодеяния. Однажды, к примеру, во время расправы опричники никак не могли побороть купца Харитона Белоулина. Он все вырывался и кричал: «Почто, царю великий, неповинную нашу кровь проливаеши?» Все-таки его скрутили, отрубили голову, а Харитон, обезглавленный, вдруг поднялся над плахой и стал извиваться, разбрызгивая кровь по Красной площади. Его, уже мертвого, опять не могли повалить.

Царь в ужасе бежал.

После, в 1572 году, – новая война. Уже не с беззащитными новгородцами, а с татарским ханом Девлет-Гиреем. И оказалось, что русское войско, увлекшись расправами, расколовшись на части, стало беспомощным и подпустило неприятеля к самой Москве. Город почти полностью сгорел.

После чего Иван Грозный, как всегда неожиданно, отменил опричнину. А любимый опричник Малюта Скуратов погиб через год на войне.

* * *

Прошли столетия. На месте Опричного двора поселились Разумовские, а после – Шереметевы. Усадьба строилась, совершенствовалась, украшалась. А в 1863 году здесь разместилась городская дума, на заседаниях которой блистал городской голова Николай Алексеев. Один из современников писал: «Высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями, с необычайно громким, звонким голосом, изобиловавшим бодрими, мажорными нотами, Алексеев был весь – быстрота, решимость и энергия. Он был одинаково удивителен и как председатель городской думы, и как глава исполнительной городской власти.

Он мастерски вел заседания думы... Заседания происходили в большой длинной зале... За длинным столом в несколько рядов сидели гласные, а во главе стола садился городской голова. Он являлся на заседание во фраке и белом галстуке, гласные приходили в разных костюмах – до поддевы и высоких сапог бураками включительно. Голова возлагал на себя серебряную цепь, и это служило сигналом к открытию заседания.

Заседания думы по вторникам, начинавшиеся в седьмом часу, до Алексеева благодаря неумелому и вялому руководству затягивались иногда до глубокой ночи. Алексеев вел заседание с необыкновенной энергией и быстротой. «Объявляю заседание открытым. Прошу выслушать журнал прошлого заседания», – раздавался звонкий сильный голос. Жужжание разговора стихало, и городской секретарь, стоявший за конторкой позади головы, мерно и по-секретарски читал... Подписав поданный секретарем журнал, он вставал и быстро одно за другим докладывал мелкие дела, внесенные на решение думы городской управой или различными думскими комиссиями. Только и слышалось: «Возражений нет, принято; принято», – и рука быстро переключала положенные бумаги из одной пачки в другую...

Помню, раз довольно долго говорил какой-то гласный; говорил, запинаясь и плохо, укоряя в чем-то городскую управу, что вот она обещала что-то привести в порядок, а вот оказалось... «Не оказалось!» – раздался громкий окрик, и гласный, не обладавший, очевидно, опытностью в парламентских дебатах, смутился и сел».

Разве что над хозяйством собственно городской думы Алексеев был не властен. И время от времени газеты сообщали о подробностях думского бытия: «На Воздвиженке... в помещении городской думы имеется буфет, смежный с ретирадами... Зловоние в нем от смежности с ретирадами такое, какое может лишь существовать на загородных свалках. В уровень с этим условием нечистота посуды, недоброкачество провизии делают из буфета этого нечто положительно невозможное... Некоторые... обращались к экзекутору Думы... но г. экзекутор наивно сознался, что, по преклонности лет, он вовсе утратил обоняние и не чувствует никакого запаха».

А в 1892 году, когда гласные думы переехали в новое здание рядышком с Красной площадью, в доме открылся Русский охотничий клуб. Ликовал Константин Станиславский: «Был снят и отделан для Охотничьего клуба великолепный дом на Воздвиженке... С открытием клуба мы возобновили наши очередные еженедельные спектакли для его членов; это давало нам средства, а для души... мы решили ставить показательные спектакли, которые демонстрировали бы наши художественные достижения».

Владимир Гиляровский дополнял рассказ прославленного режиссера: «Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа.

С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял Русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты.

Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обоого пола. С Русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб...»

Главным в Охотничьем кружке были, конечно же, спектакли. Здесь, кстати, в 1898 году впервые встретились на репетиции Антон Павлович Чехов и его будущая супруга Ольга Леонардовна. Она вспоминала об этом: «Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича (Немировича-Данченко. – АМ.) о том, что завтра, 9 сентября, А. П. Чехов будет у нас на репетиции «Чайки», ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду, ни того мгновения, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с А. П. Чеховым...

Он смотрел на нас, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая «античные» урны, которые изготовлялись для спектакля «Антигоны».

Антон Павлович, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и общо, и не знали мы, как принять его замечания – серьезно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту, и сейчас же чувствовалось, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу, и от едва уловимой характерной черточки начинает проявляться вся суть человека.

Один из актеров, например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в «Чайке», на что последовал ответ: «Да он же носит клетчатые брюки». Мы не скоро привыкли к этой манере общения с нами автора, и много было впоследствии невыясненного, непонятого, в особенности когда мы начинали горячиться; но потом, успокоившись, доходили до корня сделанного замечания.

И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни».

Захаживал сюда сам Лев Толстой. Лев Николаевич обычно размещался не в партере, а на сцене, за кулисой, и смотрел на сцену сбоку. Организаторы, конечно, предлагали ему лучшие места, однако тот отнекивался:

– Люди ведь пришли сюда спектакль смотреть, а если я перейду в партер, то будут на меня смотреть, и никто из нас не получит удовольствия – ни публика, ни актеры, ни я.

Писатель явно не страдал заниженной самооценкой.

Впрочем, не исключено, что Лев Толстой терпел все эти неудобства по другой причине. Дело в том, что он обычно выбирал легкие, даже легкомысленные представления. Вроде того, о котором обмолвился в воспоминаниях Владислав Ходасевич: «Мне было лет восемь, я лежал в оспе и слушал в полубреду разговоры о том, что в Охотничьем клубе, куда однажды возили меня на елку, какой-то Станиславский играет пьесу „Потонувший колокол“ – и там есть русалка Раутенделейн и ее муж, Водяной, который все высовывается из озера, по-лягушачьи квакает „брекекекекс“ и кричит: „Раутенделейн, пора домой!“ – и ныряет обратно, а по скалам скачет бес, который закуривает папиросу, чиркая спичкою о свое копыто».

Разве мог властитель дум, которым был в те времена Лев Николаевич, публично посещать столь несерьезные по форме спектакли? А потом в Ясной Поляне рассуждать перед очередными ходами о непротравлении насилию, о вреде праздности и прочих замечательных вещах? Нет, «брекекекс» – даже в сверхсерьезной пьесе Гауптмана – был бы нешуточным ударом по толстовской репутации.

Но помимо театральных развлечений в клубе процветала и азартная игра. Тот же Владимир Гиляровский вспоминал: «В одной из... комнат стояло четыре круглых стола, где за каждый садилось по двенадцати человек. Тут были столы „рублевые“ и „золотые“, а рядом, в такой же комнате, стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для баккара и два круглых „сторублевых“ стола для „железки“, где меньше ста рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше двух часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в семь часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру».

А в двадцатом веке в клубе начали состязаться шахматисты. В частности, в 1914 году здесь состоялась показательная партия между Алехиным и Ласкером. Один из очевидцев вспоминал: «Барьеров вокруг игравших не было, но публика не подходила близко к столику и держалась дисциплинированно. Демонстрационных досок тогда тоже не было, и многие держали в руках карманные шахматы. Ходы передавались в публике шепотом, из уст в уста. Но когда Алехин пожертвовал слона, зал зашумел и замолк под взглядами Алехина».

Сравнивая партнеров, можно было сказать: лед и пламень. Пожилой Ласкер с вечной сигарой, хладнокровный и выдержанный, был полной противоположностью своему юному

противнику, беспрерывно вертевшему клок волос и нередко вскакивавшему после сделанного хода. Нам не нужен был комментатор: на его выразительном лице отражались все душевные переживания. Он был в хорошем настроении, и зрители были уверены в том, что его позиция хороша. После окончания партии быстро замелькали над доской тонкие руки Алехина, показывавшего бесчисленные варианты».

То есть шахматные страсти были посильнее карточных.

* * *

После революции здесь разместили Музей Красной армии и флота и военную же академию. Сам Ленин заезжал сюда, чтобы выступить перед курсантами. В 1930 году усадебные флигели были разрушены, а само здание усадьбы загорожено новым корпусом – серым и некрасивым. А в 1937 году путеводитель по Москве радостно сообщил: «По правой стороне улицы, в заново перестроенном д. №6 находится одна из лучших больниц – Кремлевская».

Нашли чем удивить. Ясное дело, не худшая.

Универмаг для военных

Магазин Экономического общества офицеров (Воздвиженка, 10) построен в 1913 году по проекту архитектора С. Залесского.

Военторг был снесен в 2003 году. Снесен как-то исподтишка, вопреки многочисленным протестам и общественности, и даже министра культуры страны. Но ничего тут не поделаешь, Москва – жестокий город. В 2008 году на этом месте был построен новый Военторг, внешний вид которого отдаленно напоминает старый.

Когда-то это место славилось своими дворниками. Московский дворник в прошлом – вообще явление уникальное. Это был очень важный человек. Ведь его главная задача сводилась вовсе не к уборке, а к запиранию и отпиранию ворот и наблюдению за тем, что делается во дворе и рядышком – на улице. Дворники пользовались уважением у кучеров, кухарок, горничных и прочей челяди. В чеховском рассказе «Умный дворник» дворник даже грамоте обучен: сидя на посту, он читал научно-популярный фолиант под названием «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква?»

– Так написано, что лучше и не надо. Умудрит же Господь! – восторгался грамотей.

Правда, в результате дворник заснул на посту и был наказан.

Что же до дворников улицы Воздвиженки, они были особенные. Дело в том, что в девятнадцатом столетии на месте будущего Военторга находился дворец богатых золото-промышленников Базилевских. И, как утверждают легенды, домовые доски на дворце были сделаны из чистейшего золота – собственного, конечно, производства. Вроде бы и хвастовство, и самодурство, но с другой стороны – рекламный ход. Охранялись же доски особым штатом из дворников – самых рослых, сильных и отважных, отобранных по всей Москве.

Когда же Базилевские покинули свой непростой дворец, здесь был открыт Литературно-художественный кружок. Произошло это в 1899 году. Актер Сумбатов-Южин писал об этом так: «В течение трех лет шли подготовительные работы по учреждению в Москве литературно-художественного кружка, где бы могли чувствовать себя „дома“ разбросанные по разным редакциям, театрам, консерваториям, студиям, частным кружкам, меблированным нумерам и т. п. лица, представляющие в настоящее время литературу и искусство в Москве. Если признать, что всякое живое дело требует для своего развития и совершенствования общения между собой его работников, то нельзя не удивляться, как могли литература, журналистика, театр, живопись, музыка в Москве так долго обходиться без малейшего намека на объединяющее их учреждение».

И наконец-то все было готово. Один из участников церемонии открытия, Николай Телешов, так описывал это учреждение: «Оно состояло из большого квадратного зала, из узкой и длинной столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и в стену было вставлено дно огромной дубовой бочки, высотой до потолка, с крупной надписью: „In pivo veritas“ – шуточный перифраз известной латинской поговорки об „истине“».

А Владимир Гиляровский восхищался: «Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, камин, ковры, концертный рояль... Уютно, интимно... Эта интимность Кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обмениваться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант – подходил к роялю.

Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел:

Люди гибнут за металл...

Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие великие тех дней. Звучала музыка известных тогда музыкантов... Скрябин, Игумнов, Корещенко...

От музыки Корещенки

Подохли на дворе щенки, —

сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста.

Впрочем, в скором времени Кружок переехал на Большую Дмитровку, а на Воздвиженке в 1913 году известный архитектор С. Залесский выстроил магазин Экономического общества офицеров Московского округа. А над входом ради убедительности разместил фигуры древнерусских воинов.

Магазин получился на славу – своего рода культурный центр. Путеводитель по Москве писал: «Новое 5-этажное, с мансардой и подвалом, здание построено специально для нужд Экономического общества и с таким расчетом, чтобы в 3 нижних этажах размещались торговые помещения, вполне доступные для публики; причем в 1-м этаже помещаются: сапожный отдел, дорожных вещей, табачный, колониальный, мучной, гастрономический и винный; в отдельной 1-этажной с верхним светом пристройке – фруктовый и для дичи; во 2-м этаже – бельевого, хозяйственного, парфюмерного, писчебумажного и коврового; в 3-м этаже – обмундировального, офицерских вещей и закройные; кроме того, буфет с гостиней для публики; в 4-м этаже – конторские помещения и в задней части – портновские, офицерских вещей и сапожные; в мансарде – склады товаров; в подвале – расценочные, склады и винный погреб; в подвале под двором – раздевальная для служащих, транспортный отдел, холодильники и котельная».

Кроме того, здесь применялась централизованная насосно-водоводная система отопления и вентиляции – по тем временам абсолютное новшество.

При советской власти профиль этого учреждения остался прежним. Сменилось лишь название армии. В Мосвоенторге продавалось все на свете: тут были отделы мануфактуры, драпировки и ковров, гастрономии, вино-водочных изделий, канцелярских принадлежностей. И один лишь отдел назывался военным. А на самом Арбате находился военторговский филиал – магазин «Все для ребенка».

Кроме городского Военторга в здании располагался ЦК ВЛКСМ и писательское общежитие, в котором обитали поэты Безыменский и Жаров, прозаик А. Веселый и прочие творцы из объединения «Молодая гвардия». А с редакцией журнала «Голос работника просвещения», находившейся здесь же, сотрудничал писатель Михаил Булгаков. Он относил туда свои эссе о средней школе.

А вот у лестницы военного универсама была нехорошая слава. В 1956 году на ней скончался архитектор Леонидов. Он покупал подарки родственникам на 7 ноября. Неожиданно Ивану Ильичу сделалось плохо, и через несколько минут его не стало. Кстати, в историю архитектуры Леонидов вошел тоже благодаря одной из лестниц – санатория имени С. Орджоникидзе в Кисловодске. Это сооружение известно на весь мир.

Рядом с Военторгом сравнительно недавно стоял бронзовый памятник Калинин, изображавший старосту сидящим в кресле. Это один из трех московских монументов, удостоенный особой чести: после провала августовского путча 1991 года его сняли с постамента и отвезли к Центральному дому художника.

Юрий Лужков писал в своих воспоминаниях: «А затем, совсем уже ночью, я приезжал на проспект Калинина посмотреть, как свергают еще одного идола – «всесоюзного старо-

сту», подписавшего в свое время столько указов о расстрелах и арестах, сколько, наверное, не довелось никому в истории.

Людей было уже меньше. Обстановка рабочая. Покончили с Калининым довольно быстро. Появился навик».

Навик, действительно, уже имелся: перед тем, как взяться за «всесоюзного дедушку», москвичи снесли изваяния Дзержинского и Свердлова.

Постамент (гранитный кубик с надписью «Михаил Иванович Калинин») простоял еще два года. Создавалось впечатление, что сам Калинин прячется где-то внутри. И лишь в конце 1993 года его убрали, чтобы переделать в закладной камень детского «Парка чудес» в Нижних Мневниках.

Варвара с Воздвиженки

Дом Морозовой (Воздвиженка, 14) выстроен в 1886 году Р. Клейном.

Это сооружение довольно неприметное. А в девятнадцатом столетии этот укромный особняк был знаменит. Еще бы! Здесь жила одна из колоритнейших москвичек – Варвара Алексеевна Морозова, урожденная Хлудова. Или, как чаще ее называли, Варвара с Воздвиженки.

Взрослая жизнь Варвары началась с трагедии: в 1868 году ее насильно выдали за респектабельного и богатого Абрама Морозова – хозяина Тверской мануфактуры. Породнились два купеческих семейства, зато личная жизнь Варвары сразу пошла под откос.

Впрочем, маялась она в замужестве недолго – со временем Абрам Абрамович сошел с ума и жизнь свою закончил в соответствующем учреждении. Тут-то Варвара Алексеевна и проявила свой талант. Ее невестка Маргарита вспоминала: «Когда муж заболел, В. А. Морозова взяла на себя управление Тверской мануфактурой и осуществляла его твердой мужской рукой. Отличавшаяся сильной волей и независимым характером Варвара Алексеевна пользовалась большим авторитетом в купеческой среде.

Варвара Алексеевна была человеком широко образованным. Вместе с тем она была очень деловая и практическая, умела хорошо ориентироваться в коммерческих делах».

При всем при том Варвара была очень даже миловидна. Та же Маргарита сообщала: «У нее были замечательные глаза, большие, темно-карие, с красивыми, пушистыми, соболиными бровями. Выражение их было строгое, но иногда веселое, с оттенком грусти. Глаза эти нельзя было не заметить, исключительно хороши. Цвет лица ее был яркий, улыбка очень привлекательная. Ей шел светло-голубой цвет, и она постоянно его носила. Очень удачно она изображена на портрете К. Е. Маковского, который всегда висел у нас в гостиной».

Кстати, грусть Варвары Алексеевны имела еще одну весьма прискорбную причину: ее брат Михаил Хлудов тоже умер в сумасшедшем доме. А до этого он долго поражал московский свет – мог появиться на балу в костюме гладиатора, а то и вовсе выкраситься негром. Мало того, его всегда сопровождала здоровенная тигрица Машка. Словом, итог хлудовской карьеры никого не поразил – разве что его сестру... Впрочем, на репутацию Варвары Алексеевны подобное родство ни в коей мере не повлияло: деловая и очаровательная бизнес-вумен была в то время уникалом для Москвы.

Кроме того, госпожа Морозова была известной благотворительницей. В той же Тверской мануфактуре она выстроила родильный дом, аптеку, больницу и даже «санаторию» для подуставших мастеров. Там были богадельня, сиротский приют, ясли, училище, библиотека и школа, обучающая разным рукодельям.

Правда, фабричные рабочие особой благодарности в отношении хозяйки не испытывали. Один из современников Морозовой, купец Н. Варенцов, писал в своих воспоминаниях: «Несмотря на все заботы и денежные жертвы, на фабрике как-то произошла забастовка. Причины забастовки я теперь не припомню. Хозяйка поспешила приехать на фабрику, предполагая, что ее личное присутствие успокоит фабричных. Рабочие, узнав о приезде хозяйки, подошли большой толпой в несколько тысяч человек к хозяйскому дому.

Варвара Алексеевна собралась к ним выйти, но местный исправник и фабричная администрация не рекомендовали ей выходить к рабочим, т. к. громадная толпа, насыщенная страстями, представляет из себя опасный элемент для спокойных переговоров, но она на уговоры их ответила: «Рабочие меня хорошо знают, я так много для них делала и делаю, что я для них как бы мать, и уверена: когда я к ним выйду, они меня выслушают и успокоятся». Когда она вышла, возбуждение и крики между рабочими еще более усилились, и из задних

рядов толпы пронесли несколько увесистых булыжин недалеко от головы хозяйки. И эта «мать рабочих», подобрав свои юбочки, опрометью обратилась в бегство к дому, спасаясь от своих возбужденных «деточек»».

Гораздо безобиднее было благотворительствовать в городе Москве. Здесь на морозовские средства действовали начальная школа, ремесленное училище и Пречистенские рабочие курсы. Правда, и здесь Варвару подстерегали неожиданности.

В частности, в 1895 году «Московский листок» сообщил: «Квартиранты дома потомственной почетной гражданки В. А. Морозовой на Воздвиженке несколько дней тому назад стали ощущать сильное зловоние, но никак не могли добиться причины распространения этого зловония. Случайно 22 мая наконец удалось узнать, в чем дело. Экономка В. А. Морозовой, Марья Субботина, объявила, что, как она замечает, запах слышится всего более в подвальном этаже, у двери комнаты призреваемой госпожой Морозовой 70-летней старушки, воспитанницы московского Воспитательного дома Марфы Дмитриевой Сердобинской, которая, по словам жильцов, 19 мая ушла к своей сестре и заперла комнату; тогда дали знать полиции; последняя не замедлила явиться вместе с врачом. Когда была открыта дверь, то вошедшие невольно вынуждены были отступить назад от трупного запаха, выходившего из комнаты, где на постели лежал разлагающийся труп старушки Сердобинской. Покойная страдала болью в груди, от которой, вероятно, и умерла. На отсутствие же ее не обратили внимания, потому что старушка очень часто уходила гостить на несколько дней к сестре».

Но, разумеется, подобные истории не останавливали увлеченную благотворительницу.

Впрочем, были сферы московской жизни, к которым эта дама была более чем равнодушна. Например, театр. Однажды к Морозовой за помощью явились Станиславский и Немирович-Данченко, создатели Художественного театра. Последний вспоминал: «Это была очень либеральная благотворительница. Тип в своем роде замечательный. Красивая женщина, богатая фабрикантша, держала себя скромно, нигде не щеголяла своими деньгами, была близка с профессором, главным редактором популярнейшей в России газеты, может быть, даже строила всю свою жизнь во вкусе благородного сдержанного тона этой газеты. Поддержка женских курсов, студенчества, библиотек – здесь всегда можно было встретить имя Варвары Алексеевны Морозовой. Казалось бы, кому же и откликнуться на наши театральные мечты, как не ей... Когда мы робко, точно конфузясь своих идей, докладывали ей о наших планах, в ее глазах был почтительно-внимательный холод, так что весь пыл наш быстро замерзал и все хорошие слова быстро застревали на языке. Мы чувствовали, что чем сильнее мы ее убеждаем, тем меньше она нам верит, тем больше мы становимся похожими на людей, которые пришли вовлечь богатую женщину в невыгодную сделку. Она с холодной любезной улыбкой отказала. А и просили-то мы у нее не сотен тысяч, мы предлагали лишь вступить в паевое товарищество в какой угодно сумме, примерно в пять тысяч».

При этом Варвара Алексеевна искусства уважала: вместе со вторым своим супругом (правда, неофициальным) В. М. Соболевским, главным редактором «Русских ведомостей», она устраивала вечера для творческой интеллигенции, куда заглаживали Брюсов, Чехов, Андрей Белый и другие знаменитости – числом иной раз до двух сотен человек.

Один из завсегдатаев этого салона так говорил о госпоже Морозовой: «Богатая вдова, олицетворяющая в себе Марфу-посадницу новейшей культурной формации. Величественно-прекрасная жена, бойкая купчиха-фабрикантша и в то же время элегантная, просвещенная хозяйка одного из интеллигентнейших салонов в Москве, утром щелкает в конторе костяшками на счетах, вечером – извлекает теми же перстами великолепные шопеновские мелодии, беседует о теории Карла Маркса, зачитывается новейшими философами и публицистами, в особенности же П. Д. Боборыкиным, изобразившим ее отчасти в своем романе „Китай-город“. Свое сочувствие просвещению г-жа Морозова выразила и на деле, вызвав-

шись поддержать своим капиталом женские врачебные курсы и пожертвовав 10 тысяч на учреждение школы».

Кстати, о взаимоотношениях Морозовой и Соболевского город не уставал судачить. Упомянутый уже Н. Варенцов писал: «В. А. Морозовой увлекся известный издатель и редактор самой либеральной газеты в Москве „Русские ведомости“ Соболевский, и она жила с ним открыто, не сочетавшись церковным браком, не обращая никакого внимания на окружающее ее общество и всех ее родственников. Злоязычники утверждали, что она не желала менять свою известную фамилию: Морозову на Соболевскую, представлявшуюся в ее купеческих глазах малозавлекательной; имея от него детей, оставила им фамилию Морозовых».

В действительности дело было в том, что первый муж Варвары Алексеевны, будучи уже немножко не в себе, оставил завещание, по которому вдова в случае нового замужества лишалась всех бесчисленных миллионов. Разумеется, Морозова даже не думала пожертвовать наследством ради репутации.

Это была во всех смыслах невероятная женщина.

Тайная и явная морозовская глупость

Особняк Арсения Морозова (Воздвиженка, 16) выстроен в 1899 году архитектором В. Мазыриным.

Самый необычный дом на Воздвиженке (да и на всем Большом Арбате вообще) – затейливый особнячок Арсения Морозова. Редкий прохожий, в первый раз бредя по этой улице, не одарит его хотя бы одним взглядом.

Впрочем, далеко не всем нравился этот примечательнейший дом.

Ранее на этом месте размещался цирк. Один из посетителей, Н. В. Давыдов, вспоминал: «Труппа его была большая, хорошо набранная, в конюшне стояло много красивых лошадей, и вообще он казался учреждением солидным; верхние ярусы его бывали всегда полны, более дорогие места иногда и пустовали, водились и завсегдатаи-любители, сидевшие в первом ряду, не пропускавшие, кажется, ни одного представления и проводившие антракты „за кулисами“, то есть в конюшне. Помнится, старинные клоуны были все из иностранцев, как, впрочем, и весь остальной персонал; „монологирующих“ клоунов не водилось, зато они были менее грубы и более элегантны. В этом направлении тогда выделялись отец и сын Виаль, или Вилль (отец звался „Литль Вилль“), обладавшие действительным комизмом, а притом и грациозностью движений. Из наездников отличался молодой красавец Саламонский, и была, помнится, замечательно красивая наездница, едва ли, впрочем, выделявшаяся чем-либо, кроме красоты, девица Адель Леонгарт».

Правда, режиссер К. Станиславский отдавал свои симпатии другой «девице», тоже цирковой наезднице, Эльвире. Он в то время был совсем еще ребенком. Но впоследствии с радостью вспоминал: «Музыка заиграла знакомую польку, – это ее номер. „Танец с шалью“ – исполнит партнер и на лошади девица Эльвира. Вот и она сама. Товарищи знают секрет: это мой номер, девица, – и все привилегии мне: лучший бинокль, больше места, каждый шепчет поздравление. Действительно, она сегодня очень мила. По окончании своего номера Эльвира выходит на вызовы и пробегает мимо меня, в двух шагах. Эта близость кружит голову, хочется выкинуть что-то особенное, и вот я выбегаю из ложи, целую ей платье и снова, скорей, на свой стул. Сижу, точно приговоренный, боясь шевельнуться, и готовый расплакаться. Товарищи одобряют, а сзади отец смеется».

Неудивительно, что при подобном воспитании простой купеческий сыночек Костенька создал впоследствии свой собственный театр.

Единственное неудобство – наверху, на галерее, там, где самые дешевые места, было ужасно тесно. Летом не хватало воздуха, и некоторые особо нежные ценители прекрасного подчас валялись в обморок. Но это, разумеется, касалось лишь «бюджетных» ярусов.

Владел всем этим удовольствием баварский подданный, антрепренер Карл Маркус Гинне. И все бы в его жизни было хорошо, когда бы не пожар, который в 1892 году спалил цирк начисто. Восстановлению сооружение не подлежало, денег на строительство нового здания у Гинне не было (все-таки цирк – не слишком прибыльное предприятие), и импресарио пришлось уйти на отдых.

Землю, на которой находился цирк, приобрела В. А. Морозова (та самая, из предыдущей главы). Не для себя – для своего третьего сына, Арсения Морозова. У Арсения Абрамовича приближался юбилей – 25 лет, и нужно было загодя готовить для него подарок. Да и неплохо было бы поселить сына по соседству – парень был, мягко говоря, со странностями.

Архитектора для нового особняка Арсений выбрал под стать собственной персоне: господина Мазырина, мистика, презиравшего христианство, зато верящего в переселение бессмертных душ. Сам архитектор уверял, что в первой инкарнации был египтянином, за что

пользовался в обществе славой дурного пустобреха, а у Морозова – бескрайним уважением. Именно Мазырин настоял на мавританском стиле. Дважды он возил заказчика (благо последний в средствах не стеснялся) по Испании и Португалии и наконец уговорил Арсения на копию замка в Синтре, рядом с Лиссабоном. Одна беда – тот замок был увит гроздьями винограда, а в Москве подобный фрукт произрастает неохотно. Не заменять же благородный виноград малиной или бузиной! Однако же спасение было найдено – вместо живого винограда выполнили каменный орнамент.

Говорят, что когда дом построили, к Арсению явилась его матушка. Плюнула на порог и сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.